

I. РАЗГОВОР С ЧЕРТОМ^[4]

I

Недавно, роясь в пыли книжного магазина, я услышал за спиной чей-то голос:

— Нет ли у вас Бердяева?

Сонная продавщица ответила, что таких авторов у них нет, а я заинтересовался любителем философии — интересно все же взглянуть на человека, который не Гоголя и Белинского, а Бердяева с базара понесет. Наверно, какая-нибудь старая крыса, если не привидение с того света.

Я обернулся и увидел молодого человека в том нежном возрасте, когда усы едва пробиваются над верхней губой. Это меня озадачило.

Вы понимаете, что я никому не хочу запретить чтение Бердяева^[5]. Вот, например, Маркс и Ленин читали авторов разных направлений, в том числе и самых реакционных, а здоровы были. И никто, даже в самые смутные времена, не осмелился внятно сказать, что они делали это потому, что были далеки от народа. Я не могу также устанавливать правила — кому и в каком возрасте разрешается читать то или другое. Ведь я не законодатель платоновской «Республики», в которой даже любовь между мужчиной и женщиной допускалась только по выбору особых должностных лиц.

Но все-таки, понимаете, странно. Много ли этот молодой человек успел прочесть из того, что гораздо ближе к его действительной, а не воображаемой личности? Зачем же ему Бердяев — старый недруг русской революции, участник реакционного сборника «Вехи», один из основателей религиозного экзистенциализма и прочая и прочая? Тут что-то неладно. И я позволил себе нескромность спросить об этом. Боже мой! Вместо ответа молодой человек отбросил меня на исходные позиции ледяным взглядом, полным глубокого презрения. В одну минуту я почувствовал себя троглодитом, далеко отставшим от развития современной мысли.

Само собой разумеется, что такое поведение молодого человека, оскорбившего в моем лице старшее поколение, мне не понравилось. Я начал мысленно кричать на него и топтать ногами. Я ставил ему в пример героическую юность Октябрьской революции, припомнил даже слова моего друга, служившего в Богунском полку^[6]:

— Подумать только, когда я лежал в госпитале с перебитой спиной и прочел в «Азбуке коммунизма», что вода при ста градусах путем скачка превращается в пар, чему я так обрадовался, ты не знаешь?

Да, были люди в наше время. Они готовы были, кажется, умереть за то, что вода превращается в пар. Наивные люди, но сколько благородного энтузиазма было в этой наивности. А вы-то, нынешние, больно поумнели! С чего это вас на Бердяева потянуло?

Так я кипел, переживая обиду и стараясь получше устроиться в та-чанке прошлого. Но здесь мне пришла в голову мысль, что кривые побеги этого молодого растения бросают тень и на меня. Если говорить об ответственности, то где же я был, когда оно принималось расти? Да и смешно ругать стихийные явления — от этого мало бывает пользы. Ну что, например, будет, если я скажу: «Ах ты, сукин сын, дождь! Зачем идешь не вовремя? И без тебя грязно»? Ругательствами делу не поможешь.

Однако молодой человек во цвете лет — это не дождь, а живое существо — личность, обладающая сознанием. Пусть так, но и живые существа могут действовать стихийно, как явления природы, на чем основаны все теории моделирования мозга и т. п. А если мы сами не хотим остаться только природой, «комком реагирующей протоплазмы», как назвал человека основатель американского бихевиоризма Уотсон, то надо, по крайней мере, избегать стихийной реакции и понимать причины.

Какие же тут могут быть причины? Я постарался вспомнить физиономию молодого человека. Лицо как лицо. Ничего демонического в нем не замечалось — ни черных пронзительных глаз, ни крючковатого носа. Глаза, наоборот, голубые, волосы светлые. На ногах, правда, узкие брючки, но кто же теперь носит широкие? По внешнему виду это, скорее всего, студент или молодой рабочий из тех, которые занимаются в литературных кружках. Я не думаю, чтобы он был княжеского происхождения или принадлежал к потомкам фабрикантов. В его родословной деревня была еще видна.

Читает ли этот молодой человек газету «Нью-Йорк Таймс» или журналы «Лайф», «Тайм», «Ньюс-Уик»? Быть может, он извлекает свои настроения из этих популярных органов буржуазной печати? Думаю, что нет. А если допустить, что ему знакома эта литература, что из того? Разве буржуазная пропаганда так сильна? Почему этот юный продукт советского воспитания должен иметь такую хрупкую идеологию?

И тут меня осенило. А что, если к этому делу имел отношение Гвоздилин? Похоже, право похоже. Гвоздилин — мой старый знакомый, я помню его чуть ли не с первых лет нашей истории. Уж если Гвоздилин за что возьмется — никто не устоит. Бердяеву лучшего помощника не надо.

— Да кто такой Гвоздилин? Вы его знаете, а нам до него дела нет.

— Ошибаетесь, вам есть дело до него и ему до вас. Вот, например, недавно я читал трагическую историю рек. Ведь это Гвоздилин проводит в жизнь губительный проект осушения пойменных земель, заставляя плакать тысячи взрослых людей.

Там, где ступал сапог Гвоздилина, трава не растет. Газетные фельетоны каждый день рассказывают о нем новые забавные истории. Они сообщают также, что Гвоздилин предупрежден или получил выговор.

Теперь вы знаете, кто такой Гвоздилин. Если по радио льется пошлость на самых высоких тонах и в таком количестве, что ее хватило бы для целой галактики, если все это может вызвать отвращение к любым

идеям — ищите Гвоздилина. Пусть ему дадут выговор или, по крайней мере, укажут на его недостатки.

Представьте себе, что науку о превращении воды в пар читает *ex cathedra*¹ сам Гвоздилин, а молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, является его слушателем. Это вполне возможно.

Гвоздилин лекции читает — значит, кто-то обязан их слушать. Он книги пишет — значит, у него и читатели. Интересно, что с ними будет? Я думаю так: из пяти случайно выбранных экземпляров один соблазнится лаврами своего учителя и пойдет по его стопам. Это — не лучший из пяти. Трое других махнут рукой на всякие идеи и найдут утешение в своей специальности. Ну, а последний? — Он пойдет в церковь или будет искать Бердяева. Что-нибудь в этом роде неизбежно.

Есть украинская поговорка: «На злысть моеї мати видрежу собі нос — нехай у моеї мати буде дочка без носу». Можно ругать или жалеть дочку без носу, ну а «маты»², что же, выходит, ни при чем?

Все это, конечно, игра случая, теория вероятностей. В другой пятерке может оказаться лучшее распределение. Найдутся такие засухоустойчивые особи, которые поймут объективную верность и обаяние марксистского мировоззрения даже вопреки Гвоздилину, глядя вперед, как бы сквозь прозрачное тело. Но согласитесь, что мы предъявляем в данном случае самые серьезные и высокие требования.

Каждый солдат должен знать свой маневр, сказал Суворов. И так, в чем должен состоять мой маневр перед лицом описанной ситуации?

Я мог бы, например, взяться за критику Бердяева. Нетрудно доказать, что увлечение Бердяевым — дело несостоящее, что мысли, развитые этим изящным поклонником Средневековья, это даже не мысли, а, скорее, умные или просто умственные позы, что они относятся к реальному содержанию нашей головы, как бравурные ариозо Фарлафа — к настоящей храбрости. Я могу утверждать это, во-первых, потому, что это верно, и, во-вторых, потому, что я так думаю, таково мое убеждение.

Но представьте себе, что мне пришлось бы в голову взяться за критику Бердяева. Молодой человек, встреченный мною в книжном магазине, долго разбираться не будет. Он тотчас же смешает меня с Гвоздилиным. Уже само намерение покажется ему оскорбительным:

— Воспитывать меня хочешь? Как бы не так — я не глина, чтобы из меня горшки лепили. Я сам по себе!^[7]

Одному лектору принесли записку: «Не вкусив от древа познания, нельзя вкусить и от древа жизни, и я не хочу, чтобы кто-то вкушал и дегустировал за меня»^[8].

Бывают такие времена, когда желание лично дегустировать все растущее на древе познания не так бросается в глаза и уступает место дру-

¹ С кафедры; непререкаемо, авторитетно (*лат.*). Первоначально имелась в виду церковная кафедра в Риме, откуда папы выступали с посланиями (энцикликами).

² Мать (*укр.*). На украинском эта фраза выглядит так: «На зло моїй матері відріжу собі ніс — нехай у моєї матері буде дочка без носа».

гому чувству. В такие эпохи люди, и молодые, и старые, больше всего на свете хотят быть одинаковыми, цельными, простыми, далекими от всяких сомнений. Вспомните времена «энергично функционирующих кожаных курток»^[9]. Добровольного пламенного догматизма было тогда сколько угодно. А люди более других изысканные — те прямо старались покончить с избытком знания, чтобы покрепче вкусить от древа жизни. Для этой цели, между прочим, боролись против психологических тонкостей в искусстве во имя грубой буффонады, писали утонченно-вульгарные агитки и всячески «обнажали свой прием». Им и не снилось, что это их самоотречение в пользу мнимой или действительной коллективности будет когда-то рассматриваться как проявление крайней свободы творчества. Само слово «свобода» было бы ими встречено презрительной усмешкой.

Когда волна бьет в эту сторону, вы не остановите ее своими критическими соображениями. Но времена меняются, и мы живем в эпоху, когда посредствующих звеньев на свете мало и все приобретает характер «безудержа», иногда просто карамазовского. Таким образом, получается, что одна и та же социальная энергия рождает теперь желание все дегустировать по-своему, и с этим фактом также необходимо считаться.

— Однако существуют истины вполне достоверные и прочные, не так ли?

— Так. «Дело прочно, когда под ним струится кровь», сказал поэт, а крови уже пролито немало. Я думаю, что истины марксизма, вообще говоря, не нуждаются в новой проверке, но... вообще ставить вопрос нельзя.

— А конкретно?

— Конкретно выходит так, что если я хочу сократить расходы на всякие новые дегустации, ибо расходы могут быть велики, мне надобно, прежде всего, отмежеваться от Гвоздилина. Другого пути нет.

И не потому, что, раз смешав меня с Гвоздилиным, сей юный, но придрчивый сын века не станет нас обоих слушать или читать, а если прочтет, то с таким предубеждением, которое может увести его бог знает куда. И получится, что я своими руками буду содействовать глупой моде, успеху вредных и реакционных идей. Ведь идеи, как сказал один французский писатель, похожи на гвозди — чем больше по ним колотишь, тем глубже они входят. Вот почему я должен отмежеваться от Гвоздилина.

Да, но что из этого выйдет? Если сказать все, что я о нем думаю, не будет ли это слишком? И не подхватит ли мои слова нечистая сила? Всякое ликвидаторство, всякая арьергардная тактика, делающая уступку за уступкой ходячим идеям-вирусам буржуазного мышления, мне глубоко противны. Если молодой человек, испорченный Гвоздилиным, бросается на блестящую дрянь, как рыба на крючок, это еще можно понять. Мне же искать выхода посредством лести толпе — не той старой толпе, которая, по римскому обычаю, кричала Калигуле: «Ты наше солнышко!», а той новой толпе, которая задним числом показывает ему кукиш, было бы грязно. Пусть уж этим сам Гвоздилин занимается. Я совершенно уве-

рен в том, что он сумеет найти форму приспособления. Внутренне я уже вижу, как он расширяет марксизм до Бердяева включительно, клянется Пикассо и, самое главное, преследует узкие души, не способные вместить всю широту современности.

В общем, дело запутанное, хуже, чем с травосеянием. Вот почему мне становится грустно при одном взгляде на перо и бумагу. Не осуждайте меня за робость, вспомните лучше деда из «Заколдованного места» Гоголя:

- Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.
- Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.
- Страшно слово сказать, — заблелая баранья голова.
- Слово сказать, — рявкнул медведь.

II

Для пронизательного читателя я хотел бы заметить, что эти беспорядочные мысли выражают мое настроение по выходе из книжного магазина — не более. Я отвечаю за них лишь частично, как автор литературного произведения отвечает за речи своих героев.

Правда, должен признаться, что настроение мое в этот момент оставляло желать лучшего. Я шел по Ленинскому проспекту, и черные мысли клубились в моей голове, как дым из трубы крематория. Заметив эту минутную слабость, враг рода человеческого шептал мне на ухо слова, полные лжи и коварства.

— Оставь свои заботы! Что значит твой жалкий голос среди шума и грохота этой дьявольской мельницы? Ведь все положения в механизме современности уже заранее определены, и, скажи ты хоть слово, тебя немедленно отнесет или к Гвоздилину, или к его антиподам, и не забудь при этом, что они друг друга лучше поймут, чем юный искатель правды, блуждающий между деревом познания и деревом жизни, поймет твои действительные намерения. В лучшем случае ему придет в голову, что ты хочешь сесть между двух стульев.

— Да, голубчик, предупреждаю тебя, что так и будет. Ты никого не удовлетворишь, а заслужить обвинение в гордости очень легко. Даже друзья будут относиться к тебе с легкой иронией. К чему этот резкий голос, эта преданность старой вере? Будь хоть поклонником Конфуция или Пикассо, но говори то, что принято говорить, — выбора нет, зато попугаи живут долго.

— А порядочным человеком можно быть, даже не сражаясь с ветряными мельницами. Взгляни на порядочных людей — они никогда ни в чем не принимали участия, потому и порядочные. На свете много чистых занятий, выбери любое и возделывай свой сад. Чем специальное будет твое занятие, тем чище — тем меньше опасность наткнуться на что-нибудь грязное. Положим, ты изобретаешь техническую деталь: быть может, она пригодится для подслушивания разговоров или для поджигания хижинок. Но не тебе решать, пойдет ли твое изобретение на пользу добру или

злу. Все это так далеко от нас. Кто-то другой берет на себя твое бремя, снимает с тебя моральную ответственность. Тебе остается только изящество формулы и авантюрный дух исследования. Боже мой, разве этого не достаточно для человека? А в свободное время ты можешь пожить и для души. Почему бы тебе не изучить древнескандинавский язык, если не хочешь забивать «козла»? Ты можешь собирать картины Фешина или репродукции с Модильяни. Люди живут собиранием спичечных коробок — и не жалуются.

По правде сказать, я даже вспотел, мне стало не по себе от этой идеологической диверсии. Не помню, как я оказался в метро, проехал несколько остановок и направился к выходу. Только грозная надпись «Выхода нет» вернула меня к действительности.

— Вот, значит, как... Поп свое, черт свое, а доброму человеку уже и податься некуда. Врешь, нечистая сила! Вот я тебе сейчас прижму хвост, и будешь ты у меня знать, что безвыходных положений не бывает.

С этими словами я нарушил правила движения и быстро поднялся по лестнице, пробивая себе дорогу сквозь толпу равнодушных людей, спешивших вниз. Это меня оживило.

Выйдя на бульвар, я понял, что жизнь продолжается. Гигантский термоядерный котел, именуемый Солнцем, кипел по-летнему. Щедро обрызганная его лучами зелень сияла, как тысячи лет назад. Дети возились в песке. На лавочках сидели пенсионеры, мирно беседуя о культуре личности. Все кругом дышало спокойствием, как будто физики еще не разложили ядро урана. Я выбрал свободную скамейку и открыл книгу. Это был томик Достоевского.

Книга открылась на разговоре Ивана Карамазова с чертом. Ну что ж, думаю, сюжет подходит, и стал с удовольствием вычитывать все ругательства, которыми герой Достоевского награждал своего привязчивого собеседника. Вы заметили, наверное, что Достоевский у нас теперь модный классик. В нем открыли нечто музыкальное — полифонию и контрапункт. Не потому ли, что все у нас идет *punctum contra punctum*¹, так что каждому нынешнему увлечению можно отыскать в недавнем прошлом его прообраз с обратным знаком?

Бывало... Но зачем вспоминать? Теперь вот все пишут книги о Достоевском. Иной пытливый ум самой природой предназначен писать одни заявления, а тоже, смотришь, несет читателю книгу о Федоре Михайловиче. И вот подлость мироздания! — выходит, что и в этой книге окажется что-нибудь дельное.

Итак, я погрузился в чтение «Братьев Карамазовых», наслаждаясь творческой дискуссией между братом Иваном и его собственной тенью, или, как теперь принято говорить, его «отчуждением».

— Лакей, приживальщик, дурак, ты — моя галлюцинация, ты глуп, ты ужасно глуп, не философствуй, осел!

¹ Точка против точки (*лат.*) — контрапунктический тип композиции.

Моя позиция в этом споре определилась с первых шагов — как человек я сочувствовал человеку. Мне кажется, я сам видел эту пошлую улыбку на добродушной складной физиономии господина или, лучше сказать, известного сорта русского джентльмена из «бывших», который привиделся Ивану накануне его острого заболевания белой горячкой. Да, я сам видел эту физиономию, готовую, как сказал Достоевский, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Я так же чувствовал себя оскорбленным этой плоской иронией с оттенком снисходительного внимания в ответ на бешенство Ивана. Черт был исполнен гуманности и заботы о человеке, а человек ни за что не хотел этого принять.

— Не философствуй, осел! Ни одному твоему слову я не верю. Как можно с таким мефистофельским видом нести пошлые фразы времен «Биржевых ведомостей»? С твоей претензией на оригинальность во всех этих антимирах ты удивительно однообразен. В конце концов, если освободить тебя от мнимой новизны, останется мещанин образца 1912 года. Ты проповедуешь домашние добродетели, якый ты к черту лыцарь!

Все это я прибавил, конечно, уже от себя, а последнее даже заимствовал из письма запорожцев турецкому султану. Гневные реплики Ивана Карамазова перекликались с моими собственными мыслями, и все это совершенно поглотило мое внимание. Между тем послышался странный шум, похожий на шипение и щелканье испорченного телефона. Я не сразу понял, что этот шум несет в себе какую-то информацию, однако тут выскочили отдельные слова, и, по прошествии некоторого времени, быть может, очень малого, до меня наконец дошло, что кто-то со мной разговаривает.

— Вот ты все дураком ругаешься, а сам ходишь в кабак проповедовать трезвость. Разве я тебе не доказал, что брать на себя ответственность за чужие грехи — по меньшей мере глупо? Не говорю уже о том, что эти волнения страшно вредны для сердечно-сосудистой системы. Неужели тебе недостаточно старой войны с Гвоздилиным? Ты хочешь теперь пострадать от либералов? Ну что ж, те и другие охотно почтут твою память вставанием.

Я поднял голову и увидел, что рядом со мной на скамейке сидит гражданин среднего возраста, а по нашим теперешним понятиям — из молодого поколения, одним словом, лет сорока или, может быть, больше, под пятьдесят, «qui frisait la cinquantaine»¹, как говорят французы. Откуда он здесь взялся, честное слово, не помню. Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Вы, кажется, что-то сказали? — спросил я.

— Во-первых, можешь говорить мне «ты», ведь мы с тобой старые знакомые. А во-вторых, я просто отвечаю на твои мысли.

— Привет! Откуда вы знаете мои мысли? Вы меня разыгрываете, или, может быть, у вас там детектор в кармане? Вы этим занимаетесь?

¹ Под пятьдесят (фр.).

— Значит, не узнаешь, — сказал он, горестно качая головой.

— Нет.

— А помнишь горящий Льгов?

— Ну, помню, дальше что?

— А помнишь, в тех краях станция стояла? Вся такая кудрявая, из дерева вырезанная, наверно, еще при Александре III строили. Утром стояла станция, а вечером — ничего, бритое место. Местное население все разнесло — по винтику, по бревнышку.

Какое-то смутное воспоминание пронеслось в моей голове. Это было в конце 1941 года.

— А мы ведь с тобой говорили об этом. Помнишь, на грузовике ехали километров пятьдесят прямо по шпалам. Иначе не проехать — спереди наши уходят, сзади немцы наступают, грунтовая дорога минирована. Помнишь, еще скотина местами лежала побитая. Остался только железнодорожный путь, а рельсы уже сняты — вот мы и катили по шпалам. Ну и езда, я тебе скажу, до сих пор внутренности болят.

— Да, что-то было.

— Так вот, в кузове машины мы с тобой и разговорились о судьбе этой станции. Ты говоришь: им велели не оставлять ничего врагу, они и разобрали — все правильно. А я еще тебе сказал: все-таки не без удовольствия тащили. Когда еще такое счастье выпадет? Тут и патриотизм, и ломать можно, да и в своем углу что-нибудь пригодится. А ломать у нас любят. Помнишь, я тебе песню привел: «Некому березу заломати». А зачем ее, собственно, ломати? Да уж надо. Как это она просто так стоит? Непорядок, ей самой обидно будет. Ну, разве немцы такое поймут? А мы понимаем. Кажется, я тебе даже сказал — это у нас от дьявола.

— Смотри-ка! Вспомнил, честное слово. Ты тогда майор был, так, что ли?

— Точно.

— Однако ты здорово сохранился, выглядишь молодо.

— Мы не стареем.

— А как же ты меня узнал?

— Мы с тобой не один раз встречались. Помнишь, нам как-то нужно было лететь из Казани в один маленький городок на Каме — вот как раз тот, о котором, кажется, Горький сказал «не достать руками, не дойти ногами». Зима, железной дороги нет. Ходим мы с тобой на аэродром за несколько километров, а начальник нас вежливо провожает — сегодня полетов нет, погода нелетная, машины в ремонте. Ты все кипел и под конец не выдержал, нагрубил. А он, зная свою силу, так, с улыбочкой, издевается: не вы, мол, а я отвечаю, если мясорубка выйдет, не на чем мне вас переправить!

— Да, помню. Но позволь, разве мы с тобой ходили? По-моему, это был другой, тот, кажется, из Волжской флотилии, в морской шинели.

— Форма одежды роли не играет. Так шли мы с тобой обратно в город и все спорили. Ты горячился, руками размахивал — бюрократов и взя-

точников ругал, а я тебя успокаивал. Помнишь мои аргументы? Социализм без блата невозможен. Раз на все существует два порядка — этому положено, другому нет, значит, в промежутке обязательно заведется нечто. Да это и хорошо, что заведется, — смягчает трение. По закону прожить нельзя, поправка нужна — без этого дела и поросенка не воспитаешь. Так нам классическое наследие говорит, опыт громаднейший. Вот у Островского в «Горячем сердце», если еще не забыл, Градобоев объясняет купцам: Как же мне вас теперь судить? Ежели судить по законам, то законов у нас много... Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов. Вон сколько законов, и законы все строгие. Сидоренко, убери на место! Так вот, друзья любезные, судить ли мне вас по законам или по душе? — Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарыч! И правильно — по-хорошему надо.

Я молчал, подавленный этой болтовней, которая, разумеется, вызвала у меня боли со стороны поджелудочной железы. Но я не знал, что сказать, так как само появление этого гражданина, с его претензией на роль старого знакомого, казалось мне достаточно странным. Между тем у меня не было никаких показаний к белой горячке.

— А то вот еще, если помнишь, мы встретились в самом конце «l'ancien Régime»¹ покойного отца родного и корифея науки, встретились именно в коридоре академии каких-то наук. Мы долго говорили с тобой и, между прочим, о том, каким образом тебе удалось уцелеть в такое-то время, уцелеть от опасности более верной, чем немецкая пуля.

— Ну вот, — стал бы я говорить с тобой о таких вещах!

— Однако же говорил. Бывает и с более осторожным, чем ты. Напомню тебе, если хочешь, что ты мне развил целую теорию на этот счет. Ведь вашему брату только дай случай развить какую-нибудь теорию — вы и готовы, не удержитесь. Будто бы меч неправосудия прошел над твоей головой лишь потому, что ты никогда не поднимал ее слишком высоко, никогда не стремился к преимуществам силы, не цеплялся за эскалатор, идущий кверху. — Тщеславие, друг мой, пустое тщеславие! Я тебе объяснил действие законов случая, который завтра может втянуть тебя в другую букву своей алгебраической формулы. Вот и все! Ты жил просто по недосмотру. В России всегда деспотизм ограничен беспорядком, это у нас неписаная конституция, которая действовала и в сталинские времена. Помнишь, в начале войны один боец сказал: «Немцы погибнут от нашей дезорганизации». Действительно, подходят к укрепленной линии — никого, и вдруг беззащитный город на маленьком клочке земли, отрезанный от тыла водой, — тут упорное, страшное сопротивление. Но я бы сказал более широко — все в этом мире основано на беспорядке. То, что вы называете порядком, организацией, чем-то понятным вашему бедному разуму, есть лишь небольшое отклонение от беспорядка, в котором все направления равны, все безразлично. Эта бесконечная дезор-

¹ Старый режим; *ист.* королевский строй (во Франции) (фр.).

ганизация рано или поздно должна поглотить мелкие очаги вашего сопротивления в этом мире. Поражение обеспечено.

— Пожалуйста, не читай мне популярных лекций по кибернетике. Все это я нашел у Норберта Винера и гораздо раньше у Демокрита, который жил две тысячи лет тому назад. Скажи лучше, кто ты такой и что тебе от меня нужно?

— Неужели до сих пор не догадался? Я — тот, кого никто не любит и все живущее клянет. Впрочем, это определение совершенно устарело. В буржуазную эпоху черт имел классово-ограниченные черты. Он был узким индивидуалистом. В наши дни он живет в коллективе, идет впереди прогресса, творит добро, не впадая, конечно, в абстрактный гуманизм.

Вы понимаете, что услышать такое даже среди бела дня немного страшно. Даже если предположить, что собеседник сбежал с Канатчиковой дачи^[10].

— Так ты черт! — сказал я и засмеялся деланным смехом.

Но мой собеседник явно обиделся.

— Я так и знал, что ты не в состоянии этого понять по своей закоренелой марксистской тупости. Ты думаешь, конечно, что я не существую, что я — плод воображения, в лучшем случае — твоя галлюцинация, по словам Ивана Карамазова. Отстал, голубчик. Догматизм, чистейший догматизм! Ты, наверное, из тех, которые отрицали кибернетику, ты просто даже газет не читаешь!

Мой собеседник как-то ощерился, в его глазах блеснул знакомый мне огонек.

— Гвоздили?! — воскликнул я с ужасом и какой-то радостью. Все показалось мне сразу более знакомым, простым и ясным.

...Кто-то упорно тряс меня за плечо.

— Гражданин, поезд дальше не пойдет. Освободите вагон!

Оказывается, все это было со мной в полусне. На минуту я сбился с пути, мне даже показалось, что мир — это только наше представление. Я проехал свою остановку и находился на станции «Первомайская».

Но я хочу ответить врагу рода человеческого:

— Врешь, проклятый сатана, чтоб ты не дождал детей своих видеть! Хоть ты и одет по моде, хоть сам сорочинский заседатель тебя не узнает, а мне твои слова все равно сор, дряг... стыдно сказать, что такое. Не стану я слушать твои пошлые речи, потому что все разумное действительно.

Многие еще не забыли формулу Гегеля: «Все действительное разумно». Некоторые помнят даже, что Фридрих Энгельс придал ей материалистическое и революционное истолкование^[11]. Менее известна другая, обратная сторона формулы Гегеля: «Все разумное действительно». Что это значит? Это значит, что всякая мысль невидимой нитью связана с реальным ходом жизни. Голос разума — это голос жизни, диктат действительности. И ничто его не заглушит, не исковеркает страхом или насмешкой — ни птичий нос, ни баранья голова, ни грозный медведь.

Как существует закон сохранения материи, так в области мысли ничто действительно мыслимое не пропадет, как бы ни казалось оно слабым, ничтожным, уступающим силе и коварству, и злоупотреблению.

Да, мысль не бессильна, вопреки мнению другого немецкого философа, жившего уже в наше время, создателя формулы «бессилие духа»^[12].

Все это прекрасно, все это хорошо. И хорошо, что ты веришь в разум и знаешь, что нет безвыходных положений в истории, что все перетрется — мука будет. Но если я ничего конкретно не делал, то все это только доказательство того, что я — хороший, а кому это интересно? Что же все-таки делать?

Как сделать, чтобы меня не зачислили в разряд современных модников, считающих марксизм устаревшей схоластикой? Будьте покойны, Гвоздилин не дремлет — ведь речь идет о его кровных интересах. Он тотчас же объяснит, что к чему, и получится, что я работаю, по крайней мере, на советский отдел «Нью-Йорк Таймс».

Значит, боитесь? — Боюсь, но не так, как вы думаете. Кто прожил большую часть жизни в те суровые времена, когда привычка стоять на своем была связана с опасностью часто смертельной, тот не будет жаловаться на подводные камни в наши свободные творческие дни. Почему бы мне не высказать свое мнение — что от этого изменится? Но примите во внимание, что я принадлежу к той школе, которая оценивает каждое слово не по его номинальной стоимости, а по действительному значению сказанного. Значение это может зависеть от привходящих обстоятельств.

...Я пришел домой и долго думал, как мне *отреагировать* на эту встречу. В самом деле, как мне *отреагировать*? И так как никаких средств для наведения порядка в мире у меня нет, может быть, к счастью для этого мира и, во всяком случае, к счастью для меня, то я решил писать книгу о Достоевском.

[Приходит черт в образе черносотенца^[13]

(На этом рукопись обрывается. — *Сост.*)